

ПЁТР ЧАЛЫЙ

## ЗИМНИЙ ЛИСТОПАД

На вечерний огонек в редакцию заглянул гость – бывший сотрудник нашей районки, становившийся известным поэтом, его уже печатал сам Твардовский в “Новом мире”, теперь публиковали подборками стихи столичные газеты, журналы, его имя уже, нет-нет, да вставляли в свои обоймы критики. Был это Алексей Тимофеевич Прасолов.

Затеялся поначалу шутейный разговор с непременными подначками друг друга. Дошел черед по кругу и до Прасолова. Давний его знакомый на правах ровесника подковырнул:

– Тебе вот, Алексей Тимофеевич, уже под сорок. А стихов написал с тощую книжонку, в карман влезет.

До сего момента Прасолов был, что редко с ним случалось, весело общительным – с порога отдал машинистке на перепечатку рукописи новых стихов, вдруг разоткровенничался на людях. “Косил отавы-травы в материнском хозяйстве. В охотку косил. Давно так не работал. А ночью в кухоньке зажигаю керосиновую лампу – и сижу над бумагой”. Он рассказывал, а за стеной в соседней комнате стучала машинка, на понятном только ей языке выговаривала:

*Сенокосный долгий день,  
Травяное бездорожье.*

Следом – только написанное:

*Спустилась темь. Костер совсем потух.  
Иными стали зрение и слух.  
Давно уж на реке и над рекою  
Все улеглось. А что-то нет покоя.*

В потертой папке с застешкой-”молнией” на коленях у Алексея Тимофеевича лежали листы с начальными главами повести о военном детстве. “Называю ее так – “Жестокие глаголы”.

И вот это – “стихов у тебя на карманную книжонку”, – сказанное, возможно, не без злого умысла, мгновенно изменило Прасолова. С лица сошла улыбка. Отчужденно колючим стал взгляд. Собеседники ведь знали: шутки,

---

ЧАЛЫЙ Петр Дмитриевич родился в 1946 году в селе Первомайск (Дерезоватое) Воронежской области. По образованию – учитель словесности, работает журналистом. Автор восьми книг прозы и переводов с украинского. Выпускает литературные, историко-краеведческие “газеты в газете” “Поле слободское” и альманах “Слобожанская тетрадь” (два выпуска – Воронеж, 2006; 2008). Член СП России. Живет в Россоши Воронежской области.

случалось, безобидные в свой адрес Алексей Тимофеевич и раньше не принимал, а тут речь зашла о сокровенном. Буркнул резко, с запальчивым вызовом: – Как считать! Кольцов немного написал. . .

Никому тогда не дано было знать, что скоро трагически кончит свой жизненный путь Алексей Прасолов. И уже годами после выйдет в Москве плотная книга его избранных стихов. Вступительную статью к тому же литературовед Вадим Кожин начнет словами, как бы подытоживающими тот наш разговор: “Если когда-нибудь возникнет мысль об издании книги, включающей в себя наиболее значительные образцы лирической поэзии нашего времени, – в эту книгу – как бы мало в ней ни оказалось имен – должны будут войти стихотворения Алексея Прасолова”.

“Человек с чувством истории, времени, глубины”, – такую оценку Прасолову дал, по свидетельству литературоведа-критика Инны Ростовцевой, русский писатель Леонид Максимович Леонов.

## I

Когда перечитываю сборники Алексея Прасолова, всегда запнусь на странице, начинающейся строкой:

*Я не слышал высокой скорби труб.*

Стихам предпослано посвящение – “Памяти Веры Опенько”.

*...Мы обостренной помним  
Часы утрат, когда, в пути спеша,  
О свежий холмик с именем знакомым  
Споткнется неожиданно душа.*

С Верой Митрофановной Опенько встретился Прасолов в юности. Вот его служебная автобиография. Алексею Тимофеевичу в зрелом возрасте доводилось писать их довольно часто: в пятидесятые-шестидесятые годы по разным причинам вынужден был нередко менять адрес работы, скитаясь по редакциям сельских районных газет то близ родной Россоши, то возле Воронежа. Бухгалтеры редакций, дотошные канцеляристы по сей день порой в книгах приказов хранят личные бумаги Прасолова – листы, исписанные, как всегда, характерным торопливым почерком с круто наклоненными вперед остроконечными буквами, будто пишущий спешил поспеть за рождающейся в голове мыслью.

Кстати, точно подмечено – скоропись напоминает его походку. Алексей Тимофеевич ходил быстро, выдвинув плечо и наклонившись вперед, вроде преодолевая встречный ветер. Так вот, в прасоловских служебных бумагах слово в слово повторяются строки: “В 1947 году поступил в Россошанское педучилище, окончил его в 1951 году и поехал работать в Первомайскую семилетнюю школу в качестве преподавателя русского языка и литературы”. В глухом суходольском сельце и сошлись пути Алексея Прасолова и Веры Опенько, молодой учительницы, прибывшей тоже вести уроки русского и отечественной литературы.

Родом Вера Митрофановна была из донской слободы, из Новой Калитвы. Отец ее – красный конник гражданской войны. О Митрофане Опенько рассказал в свое время писатель Гавриил Троепольский в известном когда-то очерке “Легендарная быль”, перепечатававшемся в столичных сборниках. Избиралась и работала Вера секретарем райкома комсомола. Видимо, могла устроиться и получше, но корчагинский призыв “Только на линию огня!” был для нее не просто звучным лозунгом, а необходимой жизненной нормой. Отправилась работать в самое дальнее от тогдашнего райцентра село, где на начало учебного года не хватало учителей. Как много значила эта встреча для Прасолова, чувствуется в строках прощального стихотворения, которым он начинался, по его собственному признанию, как поэт, став “обретать цвет, запах мира”.

*И может, было просветленье это,  
Дошедшее ко мне сквозь много дней,  
Преемственно разгаданным заветом —  
Лучом последней ясности твоей.*

*Как эта ясность мне была близка  
И глубиной и силой молодой!  
Я каждый раз ее в тебе искал,  
Не затемняя близостью иной,  
Размашисто, неровно и незрело  
Примеривал я к миру жизнь мою,  
Ты знала в нем разумные пределы  
И беспредельность — ту, где я стою.*

Степное Первомайское, раньше называвшееся Дерезоватое (по часто встречающемуся в здешних местах колючему кустарнику), — “тихая моя родина”. В ту зиму с пятьдесят первого на пятьдесят второй шел мне шестой год, скорее всего, я бы не запомнил Прасолова, хоть и стоял он на квартире у недалекой соседки тетки Моти Шевченко: заезжих людей в селе останавливалось немало, учителя тоже менялись часто. Запомнил же нового учителя в серой шинельке потому, что встречал его в ближней хате, двор напротив нашего, где жила Вера Опенько. К тому сроку я поднаторел в чтении. В родном доме учебники, оставленные старшим братом, пробуквал от корки до корки. Вот и повадился по причине (“мать за солью послала”) и без повода бывать в хате соседей, где весь стол в горнице был завален книгами. Благо, Вера Митрофановна заметила, что я переминаюсь с ноги на ногу, краснею, боясь попросить разрешения поглядеть на книгу. Заполучив в дрожащие руки “Басни Крылова” размером с бабусину “святую книгу”, присаживался тут же на лавку и замирал, как мышь, над раскрытыми листами.

Они же, учительница и учитель в шинельке, говорили и говорили. . .

Раз Вера Митрофановна дала мне чистую тетрадь и простой карандаш. На первом листе я начал рисовать дом и тут же чуть не разревелся: вышел он скособоченным. Утешали они меня вместе. Учитель сказал:

— Ты нарисовал хатку тетки Катри (жила на нашей улице вдовая женщина в покосившемся домишке). Очень похоже.

Учительница взяла карандаш, быстро начертила человечков, пустила дым колечками из трубы — и картина ожила.

Больше ничего не могу отыскать о Прасолове в своей памяти детских лет. А вот ученики его помнят, хоть всего год он проработал в школе.

Вышло так, что лет через пятнадцать Алексей Тимофеевич уже журналистом заехал в Первомайское. В бывшей краснокирпичной школе, построенной еще земством, располагалось теперь правление колхоза, у крылечка и поджидали председателя. Прасолов не участвовал в разговоре, — сосредоточенный лоб прорезали глубокие морщины, — стоял в сторонке, как зачастую, весь в себе. Тут его тронула за руку молодая женщина.

— Алексей Тимофеевич, цэ вы? Еле признала вас. Меня не вспомните, сколько прошло. Вы наш класс учили. . .

Обрадовались случайной встрече, улыбались, расспрашивали друг о друге. То была Маруся Величко, в девичестве — Беспалова, работала тогда дояркой на колхозной ферме. Говорливая ученица. Звучным голосом спешила выговорить:

— Я хоть и неважно училась, но посейчас не забыла, как хорошо вы нам про Пушкина рассказывали.

Уже меня самого, без Алексея Тимофеевича, газетные пути-перепутья в недалекой Старой Калитве свели с семьей Тютеревых. Они работали в школе с Прасоловым.

— Председатель колхоза попросил нас, учителей, в ночную молотить хлеба, — вспомнил Алексей Иванович. — Как взялся Алексей Тимофеевич за вилы, до ранку не выпускал их. Не разгибаячись кидал снопы пшеничные. Когда развиднелось, смотрю, ладони прячет. Так и есть — с непривычки растер до крови. Корю его, почему сразу не признался. А он отвел в сторонку, попросил не поднимать шум, перед людьми неудобно. Удивился его выдержке. Как больно ведь, а терпел и работал.

Еще рассказал Тютерева, что Прасолов чурался застолий. Любил уединение. Охотился вместе с хозяином дома, где жил. По воскресным дням рисовал. Алексею Ивановичу запомнилась картина осенней природы.

— Он меня заставил осмысленней посмотреть на окружающий мир, какой казался серым до скуки. Оказывается, что наша степная сторона по-своему красива, только нужно увидеть эту красоту.

– Прасолов не скрывал, что пишет стихи. Учителя относились к этому с уважением.

Кстати, позже, спустя годы, в письмах к Василию Белокрылову, писателю, Прасолов тоже будет возвращаться к дням своего сельского учительства.

“Там я писал поэму “Комиссар” и тоже уперся. Параллельно шла поэма, первый раз написанная в 7-м классе (тогда – 9-я по счету!). В той и другой я выходил из тупика, переходя от первой ко второй попеременно, а закончил обе аккордом – сразу. Это были еще не поэмы, хотя в них имелось сущее, но работа поучительная”.

“Я не кровожаден, хотя на моей совести (еще в Н. Калитве, когда работал в школе) – лисовин (5 декабря 1951 года), одной картечкиной – наповал, заяц (в засаде в саду) и 5 волчат, которых мы с дядькой (хозяином, у которого я квартировал) вырыли из норы. Старого волка ночью в засаде дядька только ранил”.

Алексей Иванович Тютерев больше был посвящен в текущий повседневный быт, а вот его жена Елена Григорьевна оказалась поверенной в сердечные переживания Прасолова.

– С Верой Митрофановной мы как-то сразу сблизились. Я ведь чуток раньше приехала в Первомайское по направлению после института. Ни родных, ни знакомых. Но сельские люди мне понравились. Встретила суженого, вышла замуж. Растили сынишку. Хотелось, чтобы и у подруги все складывалось удачно. А тут и Алексея Тимофеевича будто сам Бог послал.

– Она книгами жила. И он такой же. Первым Алексей к Вере потянулся. Стал заходить посоветоваться, как лучше к уроку подготовиться, предмет ведь один вели. В клубной самостоятельности участвовали. Кинофильмы обсуждали. О прочитанном говорили.

– Алексей долго стеснялся сказать Вере, что она ему нравится. Она же как не замечает симпатий. Алексей видит, что мы как родные сестры с ней, мне первой признался, что Вера ему по душе. Подтруниваю над ней: Алеша-то не просто так к тебе в гости зачастил. Она отмахивается: не придумывай, замуж не собираюсь, еще учиться нужно. . .

– Задружили они. Стихи ей хорошие посвящал.

Настроение тогдашнее точно передают слова Прасолова в письме тех времен. “Надо жить в очень близком окружении душ, тоскующих по душе, – и обжигать их, чертей, чтобы они чувствовали хотя бы самих себя”. Тютерева бережно хранят фотографии из тех давних лет, где они молодые. Светлолицая и русоволосая Вера – ясные глаза. Широколобый с прямым зачесом волос Алексей – чистый взгляд. Добрые надежды на то, что все впереди.

– Ближе к весне меня послали на учебные курсы, – рассказывала Елена Григорьевна. – Вернулась, узнала, что между Верой и Алексеем случилась размолвка. . .

Кончился учебный год, и, уложив свои немудреные пожитки, из моего села навсегда уехал молодой учитель. У постаревшей тети Матрены с той поры, сменяя друг друга, квартировало немало постояльцев, она сама им счет потеряла. А Прасолова не забыла.

– Обходительный паренек. Я прихворну, а то и бригадир на работу посылает на весь день, так Алексей воды наносит, колодец неблизко, в яру, сам скотину управит, вечером в хате протопит. Не чурался крестьянского труда.

– По ночам над книжками сидел. Когда ни кинусь ото сна, светится на столе керосиновая пятилинейка. Я его пожалео: побереги голову. Засмеется и опять в книжку!

– С Верой Митрофановной хорошая была пара. . .

Домик тети Моти на выезде из села, у дороги к автобусной остановке. Прослышав, что мне по работе доводилось встречаться с Прасоловым, она всегда останавливала, спрашивала об Алексее и наказывала передать поклон.

Вера Митрофановна осталась у нас. Учительствовала до конца дней своей короткой жизни, из которой ушла, как и Прасолов, не успев постареть.

“Хорошая душа” – напишет о ней в письме по прошествии многих лет Алексей Тимофеевич. Тесен же мир! Когда другой поэт Михаил Тимошечкин узнает, о какой Вере Оленько речь, то вдруг припомнит, как он, первый секретарь Белогорьевского райкома комсомола, не однажды в распутицу коротал в задушевных разговорах неспешную речную дорогу на попутных баржах с

комсомольским секретарем из Новой Калитвы, добираясь домой с областных совещаний. И Михаил Федорович скажет о ней схоже: “Толковый человек”.

Знали о том и мы, ее ученики. Не всякого человека, пусть даже и учителя, ходили бы ребята целым классом проведать в больнице. К Вере Митрофановне ходили в мороз на лыжах и за полтора десятка с немереным гаком километров, выстаивали у оснеженного кружевами оконца. А она за остуженным стеклом, обрадованная, улыбалась сквозь слезы, больше сокрушалась, переживая за нас, и наказывала впредь не вырываться в такую дорогу.

На нее, с виду недеревенскую, худенькую женщину, в замужестве легло столько и житейских невзгод (в селе их ни от кого не утаишь, все на виду), и болезни не отступались, а она держалась. В класс входила с улыбкой. Она учила нас своей улыбкой не гнуть спину до слома перед встреченной бедой. Тем и памятна.

Как и ему.

*Все — без нее, и этот стих,  
И утра, ставшие бездонней.*

Услышав от меня, что родом я из Первомайского, где начинал учительствовать ее сын, Вера Ивановна, мать Прасолова, сказала:

— Вера там ему встретилась. Алеша часто о ней говорил. Жалел, что разошлись дороги.

И думала вслух о несостоявшемся:

— Может, у Алеши все по-другому было бы...

Возвращаясь в памяти в ту дальнюю зиму детства, вижу высоченную, чуть подавшуюся на восход солнца белую березу. Стояла она посреди огорода у тети Матрены. Как выжила в огненной сече (фронт дважды катился через село)? Как устояла от порубок — одна-единственная на всю округу? Мне не верилось, что дерево белое-белое само по себе. “Наверное, тетка Мотя белит его крейдой...” И все думал: как она белит березу до самой вершины? Отчего дождем не смывается мел? Так считал, пока не забрался в чужой огород и не потрогал березу рукой.

На радость большим и малым росла высокая береза. Приспела нужда — срубили и ее.

*А я стою средь голосов земли.  
Морозный месяц красен и велик.  
Ночной гудок ли высится вдали?  
Или пространства обнаженный крик?..  
Мне кажется, сама земля не хочет  
Законов, утвердившихся на ней:  
Ее томит неотвратимость ночи  
В коротких судьбах всех ее детей...*

## 2

Нечаянно попавшиеся на глаза стихи сразу приглянулись. Представьте: солнечный мартовский день, теплый пар над замороженным асфальтом, талые ручьи, а у тебя — третий курс институтской учебы, возраст, когда “любые горы по плечо”. Как тут не провозгласить, что “весна — от колеи шершавой до льдинки утренней — моя”.

Конечно, поэтический сборничек “День и ночь”, выпущенный в нашем Воронеже Центрально-Черноземным издательством в 1966 году, я не оставил на полке привокзального книжного магазина на улице Мира, хотя фамилия автора мне ничего не говорила пока. Вечером же, в общежитии, устроившись поудобней на койке, раскрыл книжку. Стихи не были ни лихими, ни крикливыми, как могло показаться по той выхваченной наугад глазами строке. Просвещенный филологическими науками, поднаторевший в оных, я бы перечислил различные оттенки лиры поэта. Прежде всего, стихи отличались запоминающейся ненадуманной выразительностью.

*Водю розовой — рассвет,  
В рассветах повторенья нет.*

Рядом иное, тоже удивительное –

*Схватил мороз рисунок пены,  
Река легла к моим ногам —  
Оледенелое стремленье,  
Прикованное к берегам.*

Отнес бы стихи в разряд старомодно-философских, школы “поэтов мысли”, поскольку чувства и думы, вылившиеся на бумагу, больше говорили о духовной человеческой жизни, пытались проникнуть в ее суть.

*Пусть над нами свет — однажды  
И однажды — эта мгла,  
Лишь родиться б с утром каждым  
До конца душа могла.*

Сумел бы даже придраться к встречающейся велеречивости... Но – в тот вечер мне было не до литературоведческого семинарского анализа.

А строка посвящения – “Памяти Веры Опенько” – осенила: неожиданно я встретился вновь с учителем в серенькой шинельке – с Алексеем Тимофеевичем Прасоловым, с его стихами.

Вскоре на той же книжной полке раздобыл еще один сборник – “Лирика”, изданный в том же 1966 году в Москве “Молодой гвардией”. Стал внимательнее следить за новыми газетными и журнальными публикациями поэта.

Отчасти Прасолов тогда же заставил всерьез обратиться к стихам, от которых шел сам, – к творчеству Блока, Тютчева, Боратынского. То обстоятельство, считаю, было из важных: молодежи всю поэзию застили имена шустрых эстрадных литераторов, больше никого – ни из современных, ни из старинных – мы зачастую и знать не хотели. Лирика Александра Твардовского, Ярослава Смелякова, Александра Яшина, стихи таких поэтов, как Анатолий Жигулин, Владимир Гордейчев, Алексей Прасолов, позже – и Николай Рубцов, Николай Тряпкин, Юрий Кузнецов (говорю о себе), подтолкнули не только глубже читать русскую классику – обогащали духовно, помогали вырабатывать собственную жизненную позицию.

Летом 1967 года на студенческих каникулах пришел проситься подрабатывать в редакцию росошанской районки, в которой нештатно сотрудничал селькором и раньше.

– Заведующий сельхозотделом уходит в отпуск, а ты под началом у Прасолова побудешь. Знаком с ним? – уточнила принимавшая меня на работу женщина, заместитель редактора. Крикнула в глубь коридора: – Алексей!

По фотографии, открывающей московскую книжечку “Лирика”, я бы узнал Алексея Тимофеевича. Там он снят без позы или понятного напряжения перед объективом, светлое лицо, во взгляде – духовная сосредоточенность. Удачные снимки мне и после не доводилось видеть.

Когда остались вдвоем на покосившейся коридорной лестнице, я сказал:

– Спасибо вам за ваши стихи, Алексей Тимофеевич, – и тут же покраснел, устыдившись своих же слов. Но услышанная благодарность Прасоловым была принята не как дежурная. Голос его дрогнул.

– Трогают? – спросил он.

Та первая минута нашего знакомства расположила друг к другу, сблизила.

Работали в одном кабинете, лицом к лицу. На плечах сельскохозяйственного отдела в районной газете основные заботы. К тому же – я только осваивался в профессиональном журналистском деле. Так что почти весь день нам обычно было не до разговоров.

Петухом насакивал ответственный секретарь, требуя положенные “срочно в номер” строки. Ходившее о нем по редакции шутивное присловье “и нет житухи нам от Виктора Желтухина” вроде бы ввел в обиход с легкой руки Алексея Тимофеевича. Чуть ли не добела раскаляли телефоны, вызванная сельские новости. Выезжали чаще на попутных грузовиках в ближние и дальние колхозы-совхозы, по возвращении сразу же становились к газетной “наковальне”. Готовили свои репортажи. Правили материалы селькоров и писали статьи то за районное начальство, то от имени доярки, с какой беседовали накануне. Газета прожорлива: одно сделаешь, а следом же тебя торопят другие заботы.

Среди журналистов порой бытует мнение о поэтах-писателях, несущих на себе обязанности газетчика, как о людях, работающих вполсилы. Выкладываются, мол, они над рукописями своих книг, а за редакционным столом лишь отбывают службу. О Прасолове скажу: к газетному труду он относился как, видимо, к любой работе, по-крестьянски серьезно. Перелистайте подшивки районки. Знакомый прасоловский почерк – говорить о людях по возможности не выпранным, не казенно-затасканным, а теплым словом – встретится часто. Статьи, заметки, очерки – что требовалось газете, то он и делал без всяких скидок на свое истинное призвание. Не один увесистый том составили бы написанные им газетные строчки.

Не только физических, но и творческих сил районка, конечно, забирала немало. Фотокорреспондент Иван Петрович Девятко часто выезжал вместе с литературным сотрудником Прасоловым в село.

– Ожидаем тракториста на полевой обочине. Он в нашу сторону уже развернул машину. Июнь стоял, но летняя жара еще не приспела. Жаворонки в небе такое выделывают, на все лады высвистывают. На муравейник долго глядели, удивлялись разумной жизни муравьев: всяк своим делом занят. Честно признаться, я бы и не запомнил тот день, мало ли их распрекрасных нам выпадает. Да Прасолов написал тогда не репортаж о кукурузной прополке, а прямо-таки поэму, только что не стихами. О трактористах хорошо сказал. Ту степь так обрисовал – где слова отыскались, – вспомнил Девятко, когда я попросил его рассказать о Прасолове-журналисте.

Не ради красного словца Алексей Тимофеевич в письме в правление Союза писателей России заявит: “Ведь я работаю литсотрудником районной газеты, которая требует полной отдачи рабочего дня и тебя самого. Зато я всегда среди тех, кто кормит страну, – среди колхозников – в поле, на фермах”.

Дотошно присматривался тогда к Прасолову и я, что вполне объяснимо.

Невысокий, сухотелый. Ходил всегда в рубашках с короткими рукавами, в накладном карманчике вчетверо сложенный лист бумаги и карандаш. Ни блокнотов, ни авторучки с собой не носил. Да и в редакции всегда на его столе стояла чернильница, писал обычной, забытой ныне школьной ручкой с “уточкой” – тупоносим вставным пером. Материалы в газету готовил, поражало, очень быстро; исписанный ровными строчками лист почти всегда без помарок. Если приходилось изменять написанное, вычеркивал буквы с какой-то суеверной старательностью, так что прочесть их после было невозможно. Учил этому и меня.

– Никто не должен знать, в чем ты сомневаешься. Нарушается стройность твоей мысли.

Поражало умение точно укладываться в газетные размеры. Закажет ответственный секретарь “сто двадцать пять строк на петит”, столько Алексей Тимофеевич и напишет – ни буквой больше, ни буквой меньше. А уж коль редакционный начштаба просчитается, то ругался с ним ворчливо – в газетной полосе затыкать “дыры”, дописывать материалы не любил.

В редакции чаще молчаливый, державшийся в одиночестве, Прасолов умел увидеть и разговорить человека. Поехали в колхоз за передовым опытом на заготовке кормов. Побывали на кукурузном поле, у силосных траншей на ферме, записали фамилии механизаторов, нужные цифры, примеры. Сделали снимки. Пора и возвращаться. Алексей Тимофеевич же застрял в весовой – разговорился с женщиной. Беседуют, смеются – не остановишь. Вслушался: его собеседница – звеньевая у свекловичниц, а в молодости шофером была, парашютисткой. Никогда бы не подумал, что у повязанной косынкой колхозной весовщицы такая любопытная судьба. Не очерк о ней пиши, а книгу.

Человеческой деликатности газетчика у Прасолова стоило поучиться. Не докучал тем, с кем приходилось беседовать, от работы старался не отрывать. Сельские дела и проблемы знал так, что председатель колхоза и агроном, доярка и тракторист говорили с ним уважительно, видя в нем своего – деревенского толкового собеседника.

Да и в редакции к нему относились с почтением, казалось мне, не потому, что он писал стихи – Прасолов не брезговал, не пренебрегал любой газетной работой. Требовалась статья о молочной ферме, делал ее, нужен репортаж из нового колхозного детского садика – выезжал туда, получал задание выпустить номер о людях – ровесниках Октября, сидел и на маленьких замет-

ках. Такой корреспондент — всегда на особом счету в районке, где вечно не хватает рабочих рук, недостает до самой последней минуты перед выпуском газетных строк.

С особым вниманием я прислушивался к советам Алексея Тимофеевича, когда выпадала не занятая работой минута. Высказывался он скупно и коротко. Потому запоминалось.

Мои газетные материалы по должности первым читал он. Вычеркивал цифры, какими я для солидности пересаливал статью.

— В газете главное — люди. Не молоко, не мясо, не проценты — люди. Как и на земле — человек. О нем старайся больше и писать.

Маракую-маракую — не получается у меня статья. Вроде и ясных примеров предостаточно, а вот в складывающихся словах не выделась эта ясность. Руки опускаются. Объясняю Прасолову суть дела. Он обстоятельно растолковывает, как надо писать.

— Направление мысли своей для себя же определи. Дальше главное — не менять курса. А парус с фактами можно поворачивать как угодно.

В окололитературных кругах газетная работа часто считалась неблагодарной поденщиной, уже потому — халтурной. Вот мнение на сей счет Прасолова: “Честный человек, даже делая то, что чуждо ему, может быть честным: так или иначе он покажет себя, хоть в четырех строках из написанных им ста строк; а это уже дорого”.

Выдавался свободный от газеты час — Прасолов застывает над страницами стихов Николая Заболоцкого. В тот июль он не расставался с уже потерятым зелененьким однотомником. Отлучаясь, предупреждал, что уходит в читальный зал, проглядывал все журналы, какие получали в библиотеке.

Ближе к вечеру наводили порядок в бумагах на столе, прикрывали плотные двери, отгораживаясь от коридорного шума, окна комнаты выходили в пустынный, заросший кленком-самосевком дворик. Разговор начинался о литературе, о любимых книгах, поэтах и писателях. Намолчавшись за день, Алексей Тимофеевич выговаривался. Очень точно подметил воронежский литературовед Анатолий Абрамов то, что передать речь Прасолова очень трудно. “...Если у большинства людей разговор — это путь по земле, шагание по дороге, по полю, по асфальту, то его разговор — это всегда шаги по сваям над пропастью”. Мне к тому времени доводилось слушать пользующихся большой известностью прозаиков и поэтов, посещал курсы лекций основательно знающих историю, литературу ученых, кандидатов и докторов наук. Что меня, студента, тогда ошарашило (иного слова не подберешь, чтобы сказать о тогдашнем своем впечатлении) — Прасолов со своим педагогическим училищным дипломом никому из встреченных мною людей, более образованных и живущих в литературном или ученом окружении, не уступал ни в знаниях, ни в красноречии. Спросил невзначай о Курбском, он мне весь вечер говорил о Руси времен царствования Ивана Грозного. Завел разговор о Есенине — прочитал хорошо знакомые строки так, что ты их как будто впервые до конца прочувствовал, открылись они тебе иной гранью.

Бывает, интересного слушаешь человека, говорит увлеченно, дело до тонкостей знает, да после переберешь мысленно беседу — ничего примечательного-то в голове и не осталось. Все красиво обговоренное, оказывается, знакомо, как вязкая ирисная конфетка, но преподнесенная тебе вдруг в позолоченной обертке.

Прасолова отличало то, что высказываемые им мысли, суждения были, скорее всего, не заемными ни у толковых книг, ни со стороны. Он имел собственный взгляд не только на литературу — на окружающий мир, в чем-то, но отличающийся, выделяющийся в общем ряду. Это дается не каждому.

*Что значит — время?  
Что — пространство?..  
Для вдохновенья и труда  
Явись однажды и останься  
Самим собою навсегда.*

Вскоре я убедился, что среди журналистов тогдашней районки Прасолов оказался не единственным, кто тоже был богат книжной мудростью и своеобразным мироощущением.



В нашей же комнате угол у входа занимал третий стол, за которым иногда восседал, поблескивая очками на крупном морщинистом лице, “вольный стрелок” Иван Матвеевич Грачев. В своей долгой жизни (его шестидесятилетний возраст в ту пору мне казался древним) он прекрасно знал лишь одно дело – газетное. Оказавшись на пенсии, он при всем желании просто не мог уйти из редакционной “кузницы”. Чему собратья по перу были, конечно, рады, переложили на ветерана освещение проблем городской жизни, создав для него нештатный отдел. Отстучав спозаранку на пишущей машинке, к приходу начштаба Желтухина он клал ему на стол заявленные ранее материалы и надолго исчезал, твердо выдерживая собственный график обхода предприятий и учреждений. Возникал вновь обычно к вечеру.

– Доброго здоровьичка, доктор! – слышалось его неизменное приветствие, унаследованное из Института красной профессуры, в каком ему в молодости довелось учиться по завершении не менее знаменитого Института философии и литературы. Приятельское обращение “доктор” нравилось и Прасолову, он охотно откликался и порой не отказывался засесть у шахматной доски.

Иван Матвеевич, нет-нет, да и извлекал из своей памяти “про между прочим” очередную “историчку”. То, как с Гришей Коноваловым (“знаешь, саратовский прозаик, романы-кирпичи сочиняет”) попали на обед к писателю-графу Толстому. Заметив, что молодые гости мельком улыбнулись друг другу, едва взглянув на поставленные перед ними махонькие рюмочки, Алексей Николаевич сам понимающе расхохотался и приказал принести посуду попрличнее.

С присказками-прибауточками “доктор” не передвигал, а со стуком переставлял шахматные фигуры и, к слову, припоминал, как за ним, цензором Гослитиздата, ночью пришла машина. “Спрашиваю: вещи с собой брать?” – “Не надо”. Привезли на службу – спешно пришлось восстанавливать изъятые “купюры” в верстке книги Фейхтвангера о Сталине. Сам Иосиф Виссарионович красным карандашом “прошелся” по тексту, советуя печатать все целиком, невзирая “на собственную личность”. Позже, когда судьба забросила Грачева в воронежские края, на библиотечной полке обнаружил знакомую книгу все-таки с его сокращениями. “То ли Сталин схитрил: часть тиража с полным текстом выпустил для француза, мол, не допускает цензуру. То ли услужливые соратники вождя постарались”.

Прасолов не удивлялся, допытывался вроде шутейно, как в точности все было: “В тридцать седьмом году как сажали? Кто кого опередит с доносом, тот и цел?” Иван Матвеевич не обижался. В редакции все знали, что его служебная карьера рухнула из-за чрезмерного пристрастия к спиртному зелью. Признаться, я неверяще слушал “доктора”. Очень уж на неправдоподобные “байки” смахивали его рассказы о былой жизни, богатой на слишком уж исторические встречи. Время спустя в дороге мне случайно подвернулась книга воспоминаний именитого деятеля; на фотографии, запечатлевшей молодёжь с Максимом Горьким, узнал хоть и моложавый, но знакомый лик Грачева.

До неожиданной встречи с Прасоловым я уже знал, что Алексей Тимофеевич за какие-то прегрешения отбывал трудовую повинность за колючей проволокой в “почтовых ящиках” близ Воронежа. Освободили его до срока по ходатайству того же Александра Трифоновича. Но ни в глаза, ни за глаза досужих разговоров о “темных пятнах” в биографии Прасолова по редакции не велось. Как я теперь понимаю – повода к тому не было. Работал Алексей Тимофеевич с полной выкладкой, как дай Бог любому и каждому.

Однажды к нам в комнату зашла жена Прасолова – невысокого росточка, под стать мужу, женщина. За руку вела сынишку. Я сразу оставил их наедине. Когда вернулся, Алексей Тимофеевич был уже один, дописывал материал, второпях черкал, что на него непохоже. Попросил вычитать текст с машинки, а еще перед уходом одолжил денег. “У Сережи день рождения, игрушечные щит и меч куплю ему в подарок”.

В послеобеденный час я застал в нашем кабинете совершенно другого человека. На вошедшего глянул исподлобья, будто камнем кинул. Когда вроде разглядел, потеплел взглядом. Он пытался макнуть ручкой в чернильницу, но не попадал, руки не слушались.

Заглянул к нам Желтухин, с порога громогласно позвал к редактору и – осекся. Плотнее притворил за собой дверь, сообщил тихо: “Начальство из Воронежа приехало, собираю всех.” Еще раз окинув взглядом покачивающегося за столом Алексея Тимофеевича, распорядился: “Ты пока не выпускай его в коридор, чтобы не попался на глаза. А потом тихо уведи домой”.

– Квазимодо! – высказался ему вслед Прасолов.

Получилось все-таки по-сказанному. Алексей Тимофеевич безропотно притулился к моему плечу, благополучно спустились со второго этажа на улицу и свернули в пустынный переулок, не привлекая к себе внимания. Держаться на свежем воздухе он стал поуверенней. Убедил меня, что доберется самостоятельно на квартиру, жил ведь недалеко от редакции.

Наутро на работе он не появился, позвонил, что лег в больницу – психоневрологический диспансер. Вот только тогда я и услышал о Прасолове: золотой человек – пока не запыет...

Своим чередом текла редакционная жизнь. Вернувшийся из отпуска редактор расспросил меня как-то о появлении в газете заметки про “сбежавшее” молоко. Вспомнилось, обочь проселка встретилось нам с Прасоловым на пути колхозное стадо. Алексей Тимофеевич не преминул дотошно поговорить с пастухами, после чего и написал о беспорядках на ферме.

– Председатель нажаловался в райком, утверждает, что все брехня. Оклеветала газета. Езжай туда и разберись, нужно ли нам извиниться.

Поспел к обеденной дойке. Говорливые доярки выложили мне еще “вагон и маленькую тележку” фактов, подтверждающих, что Прасолов писал “сущее”. Раз так, то опровержения председателю не дожидаться.

Уже со спокойной душой захотелось навестить Алексея Тимофеевича. По пути забрел в колхозный сад, там от запаха “белого налива” кружилась голова. Под рукой ничего не было, пришлось вспомнить детство: потуже перетянул поясной ремень, набрал яблок полную пазуху. С гостинцем под вечер явился в больницу. Алексея Тимофеевича встретил у входа близ забивающих “козла”. Сразу же отвел он меня в сторону ото всех, за лечебницу поодаль, где край городка. Присели на пригорке, откуда хорошо была видна округа – луг, речка в осоке, меловое холмогорье, за какое скатывался вслед за солнцем летний день.

На чистую траву высыпал, расстегнув рубаху, горку фарфорово светящихся яблок. Хотел сказать: “Вам, Алексей Тимофеевич. Угощайтесь”. Да промолчал. Прасолов плакал.

### 3

Подоспел сентябрь – кончился срок моей газетной работы “в наймах”. С Алексеем Тимофеевичем продолжали разговоры в письмах.

Советовался с ним, готовясь к семинарскому докладу о творчестве Владимира Луговского.

“Правильно пойми основное в его книге “Середина века”. Там очень много мыслей – явно высказанных, чувствуемых. И, конечно, не меньше мастерства. В коротком письме все это не поддается анализу. Отмечу, что, несмотря на внешнюю строгую “классичность” пятистопного ямба, в этих поэмах столько настоящей новизны формы и такая емкость в слове, что понимается сразу. Из его лирики лучшее – последнее: “Солнцеворот”, “Синяя весна”. Это как то же самое, что и в поэмах, но в несколько “облегченной” форме. Это мысли и чувства человека на расстоянии. И хорошо, что Луговской не оглядывается на прошлое, на революцию, а, идя вперед, несет все это в себе. Причем революция эта – не внешняя, а духовная”.

Сообщил ему, что у нас в институте все просто помешаны на стихах Вознесенского. Пытался и сам пояснить, что я увидел нового в них. Алексей Тимофеевич спокойно усмирал мой восторженный пыл. Объяснял убедительно: “Заревы” Вознесенского не воспринимаются как нечто органически целое. Найдено ключевое понятие, слово с большим резонансом и “обратимостью”. На этом построено разноглосье современного мира, который преломлен в стихах Вознесенского так, как ему хотелось. Ну и пусть. Это его дело, его право”.

Как всегда, скупо писал о себе.

“У нас новостей нет, кроме всяких именин, в том числе и моих, отмеченных 13 октября (веселое число!). Подарили лампу, подчеркнув сим фактом, что день пожирает газета, а ночью можешь себе творить что угодно”.

“Я недавно был в Воронеже и Семилуках. Выступал на читательской конференции. То, что мне вручили билет (члена Союза писателей СССР. – П. Ч.), ты, наверно, знаешь из газеты “Коммуна”.

Дотягиваю, как и все, до праздника, дающего несколько дней роздыха и возможности побывать с собой наедине. Это трудное дело”.

Наказывал: “встретить праздник “думою о сущем”. Больше старайся взять внутрь в эти годы. Желаю успехов и познания”.

В Чехословакии, куда попал я на случайную студенческую практику, вдруг с радостью услышал, что имя поэта Алексея Прасолова с уважением произносит в Оломоуцком университете чешский литературовед Загладка, специалист по советской поэзии. Он даже вызвался с согласия автора подыскать ему толкового переводчика. Весть об этом Алексей Тимофеевич принял намного спокойнее меня.

“О возможном переводе и публикации моих стихов на чешском думать много не стоит”.

Тут же высказал иную просьбу.

“Да, не смог бы ли ты достать хоть какое-нибудь издание стихов Анны Ахматовой?.. У меня было последнее издание, но там же, в Воронеже, утащили черные руки”.

Приходили еще интересные письма от Прасолова, но, к сожалению, канули в студенческом общежитии.

На зимних каникулах — домой! А в Россоши, конечно, не проехал мимо редакции. Вечером с Алексеем Тимофеевичем пошли смотреть факельное шествие молодежи — отмечалась двадцать пятая годовщина освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Сквер, где на братской могиле стоит памятник павшим воинам, ближние улочки были высвечены огненными сполохами.

*Сорок третий идет  
Дальним гулом с востока.  
У печи,  
На поленья уставясь незряче,  
Трезвый немец  
Сурово украдкой плачет.  
И чтоб русский мальчишка  
Тех слез не заметил,  
За дровами опять  
Выгоняет на ветер.  
Непонятно мальчишке:  
Что все это значит?  
Немец сыт и силен -  
Отчего же он плачет?..*

Эти свои строки Алексей Тимофеевич не читал, когда бродили по засыпанном снегом деревенским улочкам городка. Но в его памяти всколыхнулось незабвенное. Больше говорил о пережитом военном лихолетье. Вспоминал свое, личное, и обращался к судьбе страны. Говорил о святом долге тех, кто видел, прошел через горнило войны, — сказать об этом для грядущего Толстого, кому по силам будет мудро воздать непреложную славу нашему народу, который не первый раз в мировой истории отдает самого себя во благо всего человечества.

На улочках, где бродили, в ряду свежестроенных домов попадались присевшие хатки — из-под камышовых бровей стрехи светились оконца. Который век светились?

Придерживали шаг, останавливались и молчали. Как у святого места.

На притихший городок ложился снег.

Алексей Тимофеевич по вызову из Союза писателей собирался в скором времени уезжать на Высшие литературные курсы Москву. Несколько раз повторял, что давно хотелось спокойно постоять в Третьяковке у любимых картин, без суеты посещать музеи. Сказал о том, что вот-вот должна выйти его новая книга “Земля и зенит”. Читал стихи.

После говорил отчего-то вдруг резко, даже с каким-то вызовом.

— Знают, как рождается человек, дерево, день — обо всем ведают. Но не знают, как рождается поэзия. И я счастлив.

Последние слова мне не показались, а возражать ему вслух отчего-то не стал. Пусть бы говорил это живущий в ином измерении литератор — люблю-

щийся только на себя чужеродный пустоцвет, от увлечения каким предостерегал меня недавно сам же Алексей Тимофеевич. Все было бы ясно. Но ведь Прасолов всегда совсем иначе мыслил о “сущем” в поэтическом слове:

“А ведь я помню... Зимний, непогожий вечер... Колхозница — тетя Мотя — вяжет шерстяной чулок и читает мне наизусть “Катерину” и “Тяжко, важно в свити житы сироти без роду...”. Эту думку Шевченко написал, вернее, записал, в один присест — вылил. И это самое первое его стихотворение.

Когда же придет этот поэт — такой же силы, современный? <...> надо слушать лекции и эту колхозницу с землистыми руками: чем она живет, о чем хочет сказать? Если скажешь за нее — ты поэт. Надо нам думать так, как думают люди, и не заставлять их говорить так, как нам бы хотелось”.

В тот вечер расстались поздно, когда мне уже нужно было спешить на ночной поезд.

— Из Москвы обязательно напишу, — сказал Алексей Тимофеевич на прощанье. Но весточки из столицы от Прасолова я так и не дождался. А вскоре и меня закрутило: выпускной курс, государственные экзамены, на распределении расписался за “точку” будущей работы в Сибири.

Из вторых уст услышал, что после житейски вроде бы спокойной полосы у Алексея Тимофеевича опять пошли прежние срывы, какие усугубились серьезной легочной хворью.

По возможности старался не упускать публикации его стихов. Правда, сам он относился к ним с каким-то непоказным безразличием. Принес ему из газетного киоска свежий номер “Литературки” с большой подборкой его стихов. “Жигулин постарался”, — заметил сразу. Первую минуту вроде бы со светлым лицом вглядывался в отпечатанную свою работу, а затем вернул мне газету. Говорили, что схоже радовался присланной ему из редакции “Нового мира” тетрадке с опубликованными в журнале стихами — переплетена в плотную обложку. Погодя — без особого сожаления отдал ее знакомому. Дарил даже рукописи стихотворений, так и оставшихся ненапечатанными.

После выпадали суетные, почти вокзальные встречи.

— Вы туда? А я оттуда.

Россошь покинул Прасолов насовсем в начале 1969 года и приезжал сюда лишь изредка, навещал мать. В обнародованных позже письмах писателю Виктору Астафьеву есть такие строки: “Россошь не лучшее место для пишущего (обыкновенный тупик, где ты один и сидишь, как в яме)”. Не думаю, что Алексей Тимофеевич искренне хаял родимый городок. Просто выпала минута отчаяния — судебные разводы с женой, больничное заточение в туберкулезном диспансере. Выговорился под горячую руку, хорошо зная, что бумага все стерпит.

#### 4

Близким знакомым в последние годы жизни Алексей Тимофеевич говорил:

— Что у меня есть хорошее в Россоши, так это семья Лилии Ивановны Глазко.

Подарил ей фотографию, на обороте своего портрета размашисто написал:

*Для Лилии Ивановны —  
Такое бы случилось! —  
Переписал бы заново  
Стихи свои и жизнь!..*

В Лилии Ивановне почувствовал Прасолов близкого себе человека. С той первой встречи часто приходил к ней отвести душу в разговоре. Продолжались беседы и после его внезапных отъездов, в теплых письмах. Бумага хранит его сокровенное слово, его веру в то, что запечатленный на листе “мой мир в какой-то мере передастся другому” человеку, который “сохраняет себя, свое, дорожит каждой крупницей светлого и чистого в жизни”.

“Ночи я не видел... А вижу народившийся день и вношу я в него свою душу, уже настолько привыкшую к напряжению, что для нее, кажется, не существует понятий — усталость и бодрость: одно похоже на другое. Я даже сутки не воспринимаю как единицу времени, — есть свет за окном и нет света, —

это все, что в моих глазах. Господи, счастье ли это или мука моя — ничего я не разбираю отдельно и не хочу разбирать.

Пойду дальше сквозь все, что мне суждено, как оно — сквозь меня проходит насквозь. А может, и останется все целиком во мне — но все это уже не чувство, а рассуждения. А мне их меньше всего требуется”.

— ... Я горел желанием в детстве хоть раз оторваться от земли на планере, на самолете, на воздушном шаре, переделал десятки моделей геликоптеров, планеров, самолетов разных типов — от ПЕ-3 до “ястребка” ЛА-5, от МЕ-109 до Ю-88 и 89 (этих мастерил для мишеней — “сбивал” из арбалета, из самопала, из трофейной немецкой винтовки боевым зарядом, в котором наполовину убавлял пороха). Все было, даже два случая, когда я еле уцелел от брошенной мною гранаты и от немецкой мины, расстрелянной мною на реке Черной Калитве. О, времена! Нас солдаты называли “второй фронт” и грозились отодрать за уши за все эти проделки.

А для нас это была настоящая, полная риска жизнь!”

“Как летит время! Мы уже во сне не летаем. А я летал долго, лет до 36 во сне. (Из письма И. Ростовцевой: “Неужели я еще расту? Летел над полями, видел внизу сизую польнь, пашню, кусты и потом на дороге коснулся ногой теплой от солнца пыли...”). И так легко мне было просыпаться после парения над землей! Сегодня моя знакомая сказала: “А вообще ты когда идешь, когда сидишь, все кажется, хочешь из чего-то вырваться и улететь. Не замечал за собой?” Видно, внутреннее выдается мной на глаза, когда эти глаза внимательны и понимающи”.

*Мы опять с тобою отлетели,  
и не дивно даже,  
что внизу остались только тени,  
да и те не наши.  
Сквозь кристаллы воздуха увидим  
все, что нас томило,  
но не будем счет вести обидам,  
пролетая мимо.*

“... думаю: хорошо, что человек сохраняет себя, свое, дорожит каждой крупницей святого и чистого в жизни — и даже разговор на бумаге с ним очень нужен. А я как готовился к нему сегодня и вчера, когда получил письмо. А готовиться — это прежде всего отойти от суеты, вымыть руку и душу от газеты, от всего, что так далеко от моего сущего. Перед тем, как встретиться со своим прерванным делом, решил поговорить наедине с листами бумаги, где тоже отразится мой мир и в какой-то мере передастся другому. Да будет так!”

“... удалось удрать на 21 день в никуда, там среди зимнего леса, в виду наполовину — до середины — замерзшего Дона я вспомнил другой лес, другую реку Савалу, Савальский лес, богатый березами, вспоминал живую душу, жегшую костер со мной и без меня на мартовском снегу, впрочем, Вы прочтете все в “Огнище” (Огнище — лес, выжженный для посева. А посев бывает разный...). И писалось же мне в те дни, в январе!”

“... удрал в Гремяче, где ночевал, а в 4 утра брал материал на ферме”.

“... ночь выписывался до 3 часов утра — срочный материал на целую страницу. Сдал все до обеда. А теперь под бой курантов бегу через дорогу к ящику, как Ванька Жуков, и опускаю под полуночным небом письма. Да будут они для всех теплыми. А я уйду туда, где нет сновидений”.

Раздумья-разговоры о близких “живых душах” продолжались, перемежались с работой над стихами. Об этом Прасолов скажет в письме другу — прозаику Василию Белокрылову:

“Два письма — от тебя и от знакомой из Россоши. Это молодая женщина, мать двоих детей, умная жена, имеющая доброго, но ничего общего с ней не имеющего и не тоскующего об этом мужа, — ему ведь просто не доходит, каким миром она полна, чем дышит... очень чистая, непосредственная.

Вот послушай, она пишет:

“Недавно по радио передавали поэтический сборник “От января до января”. Я так ясно представила пробуждение природы весной, что вдруг почувствовала, как... весна приветливо глядит на меня глазами ягод, а ветер лас-

кает мои руки и ноги — и комната наполнилась запахами весны — мяты, ромашки, земляники. О боже! Противный запах гари... Шипя и пенясь, молоко негодовало на нерадивую хозяйку, изо всех сил старалось напомнить мне обязанности жены и матери. Так прошел мой поэтический час...”.

Апофеоз русской женщины (да и только ли русской) — ее украденный у судьбы на миг праздник, который принадлежит ей, женщине, но отнят “благополучием жизни”, и ее, женщины, тихий и страшный вот этой безгласностью реквием. И вряд ли это относится только к женщине — мы с ней на равных условиях в наше время. Я с нею знаком давно, встречи определяются моим пребыванием в Россоси — эпизодическими, но дай мне Бог немного, но побольше таких эпизодов.

Они — целая жизнь для сердца, которое с такими душами ищет отдыха — в действии. Я прихожу в ее всегда людный, но бестолково суетный мир, смотрю с нею с балкона фильм о зверях и птицах, слушаю запись их языка или вижу на сцене, внизу, танцовщицу (выступающую и за рубежом в ансамбле), вожусь с детьми, развешивая для них на ниточках то, что они должны срезать с завязанными глазами, — и с нею чувствую, как никогда — с женой, что такое для меня дети — эти самые мудрые природной мудростью существа, еще не обогатенные, а заодно и не испорченные нашей мудростью, и вдруг после всего этого встряхиваюсь и смотрю этой женщине в глаза, ожидая ответа на вопрос: кончилась игра? Нет, игры и не было — была та жизнь, которая дается нам малыми дозами, — как спасительное средство, ибо данная большей дозой, она теряет воздействие на нас — целительное воздействие, дальше следует заждавшаяся выхода человеческая пошлость. Вот оно, брат, как в человеке, при всем его желании быть не таким.

Извини, что начал не с твоего письма, но, собственно говоря, это желание — “поделиться” с тобой хорошим человеком, тем более женщиной (а мы этим, ох, как не богаты!), и есть ответ на твое чувство, свойственное всем нам, — чувство тоски по незаурядным, обжигающим душам, которых мы не нашли, чтобы иметь их всегда рядом. Может быть, находя их — пожизненно состоящих при других, — мы как раз и обжигаемся их огнем, а они — нашим. Ты верно заметил, что их огонь невыносим для нас, если он постоянен, равно как и наш для них при том же условии. Чувство “приобретенное” убивает любовь и чутье искателя. Одни принимают это как нормальное, конечное — и живут равно, другие, пронизанные ужасом этой нормальности, рвутся, рвут все, что тепло и уютно обняло их и сделало крылья ненужными, как у домашней птицы, и летят, чтобы сбить с себя даже запах той жизни. Им больно — они ведь оставили там часть себя — и часто невозвратимую, — но зато они обрели отношения очень многих людей — части человечества. И хотя судьбы таких драматичны, а порою трагичны — это результат горения. Совершенно бесплодным горение не бывает — при любом трагическом исходе.

Спасибо, что “Огнище” ты естественно воспринял — не как стихи, читиво, произведение и проч., а как что-то свое. Когда я писал, я только чутьем нащупывал тропу, по которой Она меня не вела, а притягательно манила. Среди слов я мог ее потерять, но она оказалась сильнее литературных наших дебрей — образов, техники, ритмики, — всего хозяйства, которое у нас в активе при писании. И когда я брал разгон — только отлетали на бумаге лишние слова, причем без тупиковых поисков нужных, угадываемых тобой на ходу средств выражения. И теперь я, остыв, думаю, что недаром дал слово ей, а не себе. Ведь я ее чувствовал, как сам себя в ее шкуре. А кто из нас сам не был в ней!”

И в письмах в Россось продолжались беседы со столь дорогим Прасолову человеком — Лилией Ивановной.

“...перебирал книги — сколько непрочитанного! Мне к тому же трудно быть исправным читателем: то есть тем, кто в темпе поглощает уйму книг, да и не всегда требуется много — хороших, приятных тебе авторов по пальцам перечтешь. Современных берешь, чтобы знать как информацию.

Прав Солоухин в своих письмах из Русского музея, приводя слова Экзюпери о том, что возьми песню XV века и поймешь, насколько мы одичали”.

“...Послушал несколько пластинок: “Хор охотников”, 1-ю и 14-ю сонату Бетховена, и захотелось написать письмо”.

— Музыка классическую он очень любил, — это вспоминает Лилия Ивановна. — Поставит пластинку, присядет в кресло, смотришь — тут он и нет его, весь захвачен музыкой, дети могут только так слушать.

Для меня он и был большим ребенком. Не забуду: оставила его в парке с детьми, сама пока управлялась в клубе. Возвращаюсь и что вижу: из красивых осенних листьев смастерили по кораблику, самозабвенно дуют в паруса да еще спорят – чья шхуна быстроходней.

Была в Волгограде. Удалось купить ему в записи “Сильву” Кальмана и томик стихов Александра Твардовского. Книгу сразу выслала, а пластинкой хотела при встрече порадовать.

Я с сыном и дочкой собрала целый сундук репродукций картин. Журнал “Огонек” раньше радовал классикой. Алексей Тимофеевич разложит картины прямо на полу. Спросит с улыбкой: “Сегодня в Эрмитаж на экскурсию? С кем желаете встретиться?” О картинах мог говорить часами, разглядит такие подробности на знакомом тебе полотне, что просто диву даешься, как сам раньше этого не видел. Алексей Тимофеевич пристрастен был к русским передвижникам. Крамской – земляк. Репродукции картин Николая Александровича Ярошенко подолгу любил смотреть, рассказывал о нем много и интересно.

Тянуло его глянуть на море. Мечтал шутливо: уладится жизнь, построю избушку на пустынном морском берегу и буду отшельником.

Из цветов – полевая ромашка ему больше была по душе. Радостно встречал пору, когда зацветала сосна. Доказывал: неправду о дереве говорят, что сосна зимой и летом одним цветом. Зеленая, но разная. Светлая в пору цветения – на грани весны и лета. Запах хвои уже вовсе не новогодний.

Лилии Ивановне в одном из последних писем Алексей Тимофеевич рассказывал:

...”Перед окном отцветшие подснежники, которые мы посадили в холоде, в самом начале весны. Зато сирень зазеленела дружно и скоро затенит палисадник”.

## 5

Зимним днем, хмурым от зависших туч и бесснежья, пришла черная весть: Прасолова не стало.

## 6

Конечно, судили случившееся. Те, кто больше его знал, припоминали свои пророческие предположения: этим должно было окончиться, к этому шло...

Месяцы спустя в “Юности” печатались его последние стихи. В редакции журнала, видимо, не знали о кончине поэта или не хотели омрачать читателей – фамилия стояла без траурной рамки. Будто живой к живым пришел. А стихи были пронзительно прощальными.

Падает на землю осенний лист, “рожденный там, на высоте”.

*Но все произойдет не вдруг:  
Еще — от трепета до тленья —  
Он совершит прощальный круг  
Замедленно, как в удивленьи.*

*А дождик с четырех сторон  
Уже облег и лес, и поле  
Так мягко, словно хочет он,  
Чтоб неизбежное — без боли.*

## 7

От понимающего собеседника Прасолов ведь никогда не скрывал, как пишутся стихи.

“Закон творчества – шутя-всерьез... напиши бездарно, поправь талантливо, отбери гениально!”

“...учусь естественности поэтической речи, которая не терпит долгую задержку под пером, ибо остывает, пока холодный ум правит чувством... Слово должно выбирать чувство, а не рассудок”.

“Поэзия обходится без уймы исписанных страниц, позволяет записывать где угодно, а проще всего – запоминать. Порою сам себе кажешься ходячей лабораторией”.

Поэт он не “вселенский”, а русский. Его напряженная мысль неразрывна с “землей и зенитом” – местом, где родился-вырос, где жил и работал. Как в картине большого художника присутствует узнаваемый, привязанный к месту “кусочек” лика земного, так и запредельная даль у Прасолова открывается в родимой стороне.

*Станция зеленая  
с названьем русским —  
Россошь!*

*Крутые щеки яблоч,  
смеющихся с лотка.  
Далекая, ты молодо  
под облака выносишь  
упругую певучесть  
тепловозного гудка.*

*Мы так давно знакомы!  
Я память лишь затрону —  
завоют завитые спиралью  
провода,  
И с грохотом подкатят  
к щербатому перрону  
нагруженные горем  
гневные года.*

Отмеряем путь, каким странствовал-путешествовал Алексей Тимофеевич всю сознательную жизнь, нередко было – дважды на дню, – от порога маминной хатки к железнодорожной станции и обратно. Дорожка в малость, километров шесть-семь. Если не припозднишься, то скоротаешь ее на пригородном поезде, первая остановка у поста-сторожки твоя. Пешком же – час с небольшим небыстрой ходьбы.

“В осколочной оспе вокзал” – именно таким увидел его в Россоши тревожным военным летом деревенский хлопчик. А домой отсюда – прямо и прямо, обочь “чугунки”, считай шпалы, пока не надоест. Споткнешься, забудешься у речного затона.

“Скелет моста ползучий поезд пронзает, загнанно дыша”. По мосту переходишь и ты на другой берег. “Река – широкая как дума”. Так кажется только здесь, где устроители земли не смогли “по знаку неразумной воли всеосушающе пройти”. А где поработали слепые и грубые руки, там “пятерни корней обвисли у вербы на краю беды, и как извилина без мысли – речное русло без воды”.

Тропа ведет через лес, какой вдруг “расступится и дрогнет, поезд – тенью на откосах, – длинно вытянутый грохот на сверкающих колесах”. Вроде к тебе “корни выползли ужами”, “звериными ушами листья все насторожились. В заколдованную небыль птица канула немая, и ногой примятый стебель страх тихонько поднимает”.

Не пугайся, переведи дух. Вот уже луг с травяным бездорожьем сенокосного долгого дня. Дымка древняя “среди скромно убранных равнин”. Обочь поле, на каком “легла за плугом борозда”. А вдаль снова речка, “налево – сосны над водой, направо – белый и в безлунности – высокий берег меловой, нахмурясь, накрепко задумался”. Туда поспешишь с удочкой, то будет в предрасветный час, там увидишь и, обрадованный, утвердишься в мысли, что “суетная сила еще звезду не погасила в воде, горящую стоймя”.

Впереди выбежала на шлях окраинная улочка...

В Морозовке я бывал не раз. Село со времени появления железной дороги – заречный, залужный пригород станции Россошь. Не в одном поколении здешние жители ремеслом связаны с “чугункой”, по которой уже вторую сотню лет гудят поезда, сближая серединную Россию с ее южными окраинами и северной Москвой. Не в одном поколении жители села наполовину рабочий, мастеровой люд, наполовину – в крестьянских заботах.



О Морозовке сейчас речь потому, что здесь родина поэта Алексея Прасолова. Правда, в автобиографии он всегда писал: родился в 1930 году в селе Ивановке Михайловского (позже – Кантемировского) района Воронежской области. Тот тоже недалёкий от Россоши суходольный степной теперь уже хуторок так и остался лишь паспортной строкой в его судьбе. В 1937 году семья перебралась в слободу, да и прижилась в ней.

Крайняя сельская улочка, дворы в один ряд, огородными полосами – к речной луговине, а глазастыми окнами домов – на просторный выгон, вытопанный телятами, гусями и ребятней: друг перед другом две сколоченные из жердин буквы “П”, означающие футбольные ворота. Дома нередко, как и обычные пристанционные постройки, снаружи обшиты вагонной дощечкой. Стоят вроде одетые в одинаковые темно-коричневого немаркого цвета рубахи, выдают профессиональную принадлежность хозяев.

То лето выдалось небедным на дожди, даже в августе по-весеннему густо зазеленела чистым спорышом-муравой не выбитая колесами улица.

Бывая в селе, вот так постучаться в низкое окошко уже знакомого домика не решался, не осмеливался тревожить материнскую душу расспросами.

В палисаде шелестел листьями корявый клен. Учув чужого человека, загремела цепью, залаяла собака. “На место!” – прикрикнул голос. Калитку открыла пожилая женщина. Невысокая, как и сын, круглолицая, сразу заметно сходство и в лице. Приложила козырьком к надбровью ладонь, прикрыв ею глаза от солнечного света, смотрела на незнакомых пришельцев.

– С Алешей вместе работали? – переспросив, заторопилась. – Так чего ж тут стоять? Проходите, проходите... – певуче произнося слова вперемешку на русско-украинский лад (так разговаривают здесь все сельские жители и называют себя “хохлами” по национальности, вкладывая в это понятие свой смысл, считаясь “русско-украинцами”), зазвала нас в хату. – Там холодок держится, чего на жару париться. – Улыбалась и подшучивала: – Головы, хлопцы, пригинайте, а то о притолоку шишак набьете. Мы от роду невысоки, по себе и строились.

Внутри хатенка казалась не такой уж и низкой, как землянка, поглубже полами сидела. Разделена на две половины печкой и перегородкой. Убранством комнаты немудрые. Бросалась в глаза цветастая клеенка, которой был накрыт стол. Из комнаты в комнату простланы половики в широкую полосу, домашнего тканья. Притулилась книжная этажерка, без книг сиротливая. Цел гвоздик, на каком висела скрипка, в юности Алексей любил на ней играть и сам пел песни, чаще украинские, хранимые мамой. Прикрытые вышитыми рушниками в простенках между окошками и над ними висели в рамках из деревянных планочек успевшие пожелтеть и еще свежие с виду фотокарточки.

– Алешу молоденького узнаете? – позвала мать смотреть фотографии. – Рамки на бечевочках, легко снимаются, – объясняла и снимала застекленные листы настенного семейного фотоальбома. – В руках виднее. Я сама часто так на них гляжу.

Вере Ивановне за семьдесят, но по виду этого не скажешь, старушкой еще постесняешься назвать. Как и всякая деревенская женщина ее лет, голову повязывает белым платочком, узелок под подбородком, в немаркой одежде. Разговаривает охотно и неторопливо.

– Первый муж, Алешин отец, бросил нас и село покинул...

“Жить розно и в разлуке умереть” – горчайшую строку Лермонтова предпшет Прасолов одному из пронзительных своих стихотворений.

*Ветер выел следы твои на обожженном песке.  
Я слезы не нашел, чтобы горечь крутую разбавить.  
Ты оставил наследие мне —  
Отчество, пряник, зажатый в руке,  
И еще — неизбывную едкую память.  
Так мы помним лишь мертвых...*

– А Гринева я стала по второму мужу, – рассказывает Вера Ивановна. – Был Сергей тоже наш, ивановский. Сошлись и сразу сюда, в Морозовку. Работали – он каменщиком на железной дороге, я в колхозе. В тридцать седьмом еще сына родила, Ваней назвали. Ладком все было, кабы не война. Осиротила Ваню, а Алешу – дважды, погибли отец и отчим.

*И когда окровавились пажити,  
Росчерки резких ракет  
Зачеркнули сыновнюю выношенную обиду.  
.....  
Память!  
Будто с холста, где портрет незабвенный,  
Любя,  
Стерли едкую пыль долгожданные руки.  
Это было, отец, потерял я когда-то тебя,  
А теперь вот нашел — и не будет разлуки...*

Мать не стала, что вполне объяснимо, выносить нам, заезжим по случаю, пусть даже давний тот сор из избы — далекую семейную драму. Годы спустя, когда ее, уже совсем старенькую, заберет из села к себе в Краснодар меньший сын, сводный брат поэта Иван Сергеевич Гринев, родственница Ирина Сергеевна Белогорцева обскажет подробнее, как “Алешу судьба с детства скалечила”.

— Литвиновы, это семья Веры, народ мудрый, себе на уме, хотя любили и пошутить. Дошутковались, как у них вышло — дочери не дали выйти замуж за любимого парня. А когда посватался Тимофей Прасолов, уже не отказали, проводили дочь в чужую хату.

Родился там у них Алеша. И вот Тимофея забирают на срочную службу в армию. Все бы ничего, почти дождался его возвращения. А Вера поскандалила с сестрой мужа. Та в отместку написала напраслину брату на солдатку. Тимофей поверил и как отрезал: в Ивановку не вернусь, с Верой жить не буду!

Так Веру с сыном выставили с прасоловского подворья. Она долго не тужила, вспомнилась первая любовь, сошлась с Гриневым, хорошим человеком. От лишних разговоров переселились подальше, в Морозовку. . .

В романе из писем Алексея Прасолова “Я встретил ночь твою”, составленном Инной Ростовцевой, есть скупые сведения поэта о своей родословной. Дед Григорий Прасолов “дал мне имя в память о своем любимце — сыне, погибшем в японскую войну”. Отец Тимофей Григорьевич “был военным с 1931 до 1941 год. В 41-м погиб. Видел его в последний раз в 1937 году. Брал меня с собой — мать не отдала. Больше он не женился. Есть человек, служивший с ним, — он мне много рассказывал об отце. От неграмотного парня — до командира, в первые дни — фронт и через месяц гибель. Дома — одно фото: отец с товарищем по службе. Я похож на него лицом. А нравом — в деда, так мать говорит”.

Порылся в краеведческих книжках. Оказывается, Ивановке в тридцатые годы кукушка откувала лишь первый век. Жил-поживал на степном хуторе крестьянин с сыновьями, сохранял помещичий инвентарь от осени до весны, пока не наезжали на полевые работы наемные люди. Известна дата: в 1828 году на ковыльный косогор переселилось больше полусотни семей из-под Острогожска — из села Таволжно-Воскресенки. Были ли среди них Прасоловы? Кто знает. Фамилия ведет происхождение от прасола — разьежего скупщика скота и других товаров для перепродажи. В городах Приднепровья слово приобрело значение “скупой”, так что с профессиональным занятием фамилия уже могла не связываться. Предки Алексея Тимофеевича по отцовской, равно и по материнской линиям могли, конечно, оказаться на острогожских холмах со стороны Московской Руси, а вероятнее всего — как и большинство тогдашних поселенцев, пришли из Малороссии. Русское переначертание фамилий с окончанием на -ов встречается даже в наши дни. Литвиновых, кстати, в здешней местности поныне встречается немало, Прасоловы и Прасолы попадают реже. В семидесятые годы коренное население Россоши нежданно-негаданно разбавили переселенцы. Потребовались строители и специалисты. Сельский городок среди полей становился промышленным. На его окраинах поставили корпуса электроаппаратного и химического заводов. Индустриальным ветром занесло сюда Прасоловых из Орловщины. От них услышал, что там, в Колпнянском районе, есть даже село Прасолово. А фамилия встречается “сплошь и рядом”, но произносится иначе, с ударением на первом “о”.

Сам же Алексей Прасолов, как и большинство его сверстников на юге области — Воронежской Слободжанщине, графу “национальность” в паспорте и личных листках по учету кадров заполнял так — “украинец”. А в своих письмах

не однажды отмечал: “Принесли еще новых книг. Кобзарь — на украинском языке. (Я — Шевченко принимаю только в подлиннике, это был первый поэт в моей жизни, влиявший в раннем возрасте так, как не влиял даже Пушкин)”.

У Веры Ивановны допытывался тогда: как часто сын бывал на своей малой родине? Там прожито в детстве шесть главных лет, это ведь возраст, в каком открывался мир.

Мать пожала плечами.

— Все не с руки туда дорога — жизнь так складывалась. — Добавила, что гости из Ивановки навещают ее нередко. — Село большое было, три колхоза. А теперь, говорят, и школу закрыли...

Сейчас Ивановки, считай, нет. Дикоросль опалила кинутые подворья. Лишь в летнюю пору сюда перегоняют на полевой баз скот, да тракторы-комбайны рушат тишину.

*...близ пруда, где ныне омут,  
Где, говорят, бывал Толстой,  
Родился я —*

скажет Прасолов в поэме “Владыка”. Все верно, за холмом-яром стоял некогда хуторок Ржевск, куда и приезжал в гости к другу Владимиру Чертову великий русский писатель. Ивановку Алексей Тимофеевич не забывал.

— Война, остались одни. Сколько ему, Алеше, лет тогда? — вспоминала Вера Ивановна. — Одиннадцатый год пошел. За хозяина в семье стал. Рос смиренным, послушным. Ваня — тот оторвиголова. Помощником мне Алеша. Брата вынаничил. Учился хорошо. Таисия Ивановна, по русскому языку учительница, в пример его всегда ставила. Меня встретит, обязательно скажет:

— Толковый у тебя сын, Ивановна. Постарайся, чтобы после школы не бросил учебу. Знаю — трудно. Да парень же смысленный...

Много лет спустя школьную учительницу Таисию Ивановну Акимову разыщет ее ученик. Она уже выйдет на пенсию, жить будет в другом селе. Алеша Прасолов привезет ей в подарок свою книгу стихов.

На колхозном поле как-то я разговорился с женщиной-сеяльщицей. Она оказалась не только ровесницей Алексея Тимофеевича, но и в детстве жила с ним по соседству.

— Фронт когда проходил здесь, самолеты часто бомбили дорогу железную, то мост на ней через речку, то аэродром, и на село падали бомбы. Матери нас прятали в погребе. Алеша всегда с собой кота забирал. Игались с ним, нестрашно становилось. Про кота-то Алеша стишок выдумал. Складно вышло. Хлопцам он отчего-то не признавался, что стихи сочиняет. Стеснялся, наверно, вдруг засмеют.

Милого зверя детства не забывал и сам Алексей Тимофеевич. Спустя десятилетия он писал близкому человеку: “Вспомнился далекий год: мне пять лет. Мама на работе весь день, дома — под замком — я и кошка. Дружили здорово. А потом я стал пяти лет ходить в школу. Рядом жила учительница Феоктиста Ивановна (вот запомнилось). Она дала мне букварь и тетрадь. Учеником, конечно, не числился, но со всеми вместе научился читать и писать. Кошка прибежала к школе, делили хлеб”.

“Складные стишки” позже тоже припомнились поэту и легли “лыком в строку”:

*...Первый стих, сливая в голосе  
Дерзость, боль и смех,  
Покатился эхом — по лесу,  
А слезами — в снег.*

— Оккупацию, фронт переживали тяжело. Хатку нашу развалило, — припоминала мать. — Собрались с духом и затеяли строиться. Стены из глиняного самана выложили, крышу камышовую напнули. Получилась не хуже, чем у людей, нас перестоит точно.

С Алешей вдвоем хату ставили. Нароботаемся, думаешь, как к постели бы добраться. А сын за удочку. Попрошу: отдохни лучше. Куда там. Любил рыбу ловить. С пустыми руками с речки не возвращался.

Из-за стройки год учебы пропустил. Семилетку закончил в сорок шестом, а в сорок седьмом в педучилище в Россоши поступил учиться. Читал много, потому и друзей было мало. Стихами начал заниматься, из Москвы книги ему пачками присылали. Вся этажерка была заставлена. Это сейчас – какие разда, что растащили.

Когда ни глянешь – уже с книжкой сидит. Я ему не перечила, свою дорожку выбрал. – Мать рассказывала, рукой безостановочно и бережно гладила лежавшую на коленях фотографию.

*Ладоней темные морщины –  
Как трещины земной коры.  
Вот руки, что меня учили  
Труду и жизни до поры.  
Когда ж ударил час разлуки,  
Они – по долгу матерей –  
Меня отдали на поруки  
Тревожной совести моей.  
Вот и – ударил час разлуки.*

– Светился насквозь, – таким Алешу в юношеском возрасте запомнила тетя Ирина.

Дальше – жизнь Прасолова предстает в рассказах близко знавших его людей.

– Послевоенные годы – засухи и голод, голимая нищета. Но время то остается дорогим потому, что молоды мы были, – говорил Леонид Семенович Яковенко. С Прасоловым он сидел на одной учебной скамье. Подружились и оставались верны юношескому братству. Семья Яковенко жила на железнодорожной станции. В хатенке друга Алексея встречали всегда по-родственному тепло. В непогоду тут оставался ночевать. За стол сажали вечерять. Угощали обычной в ту пору едой – спасительницей картошкой да разбавленными хлебной мукой супчиками. Удавалось ребятам порыбачить – лакомством уха, а то и поджаренные караси, окуни, красноперка.

– Науки в педагогическом училище давались, учился хорошо, – вспоминает близкий друг Алексея Леонид Яковенко.

В архивах хранится журнал, на страницах которого выставлены дипломные оценки выпускника: пятнадцать “пятерок” – по русскому языку, литературе, истории, физике и так далее, пять “четверок” и лишь три “тройки” – по алгебре, геометрии, химии.

Очень чтима Алексеем Тимофеевичем преподавательница педагогики Александра Ивановна Просфорнина запомнила первую встречу с учеником. “Гляжу, в библиотеке берет много книг. Когда ушел, я упрекнула библиотекаря: почему выдаете сразу столько книг, другим не хватает. Объясняет: самый аккуратный книголюб. Больше всех читает. Все новинки его. В другой раз вижу его в методкабинете. Листочки в руках. Конспект по практике? Нет. Признался: стихи. Дал прочесть. Содержательные. Я ухватилась за них. А он – вы никому не говорите, засмеют. Убедила его прийти в наш литературный кружок. Там познакомила с Мишей Шевченко, тот тоже писал интересно. Он похвалил Алексея. Так его первые стихи появились в “печати” – в нашем рукописном журнале. Стал Алеша как поэт выступать на вечерах. Читал хорошо – под Маяковского”.

О пристальном интересе Прасолова к творчеству Александра Сергеевича Пушкина в те годы поведал соученик Алексея по педучилищу Михаил Егорович Остапенко:

– Из села на рабочий поезд – к железной дороге – пешком вместе случалось ходить. Одет Алексей был в обычный для той поры наряд – заношенный пиджак на нем. Ростом мал, но не казался замухрышкой. Все знали, что он пишет стихи, этим выделялся. Пушкина, наверное, всего наизусть знал, что ни попроси, прочтет. На выпускном курсе дипломную или курсовую по сказкам Пушкина на “отлично” написал. Преподаватели очень хвалили, говорили – стоит печатать как научный труд.

Нечаянно подтвердил эти воспоминания мой земляк, учившийся у Алексея Тимофеевича в классе Первомайской школы Владимир Иванович Велич-

ко. Встретились у книжного прилавка, в стихах копается, перелистывает сборники, стопку уже отобрал.

— Это меня еще Прасолов к поэзии прирастил, — говорит. — Вечер школьный проводил однажды и поразил — едва не всего “Евгения Онегина” наизусть выдал. Сидели, не шелохнувшись, слушали. Удивило: человек книгу целиком держит в голове!

На квартиру к Прасолову был вхож. Соклассница жила одно время у своей тети Мотри. Нет учителя дома, пересмотрим его книги. Хранил он их в большущем фанерном ящике из-под спичек. Запомнились сочинения Пушкина в красивых обложках, напечатанные еще до революции. Алексей Тимофеевич догадался о незваных гостях в его библиотеке. Не ругался, стал давать книги почитать. Правда, к пушкинским сборникам с “ятями” не допускал.

... Не из тех ли лет у самого Прасолова на лице “свет задумчивости зрелой с порывом юным наравне”, не с той ли поры и ему “море теплое шумит, но сквозь Михайловские вьюги”.

В годы педагогического училищного студенчества Алексей Прасолов принес стихи в редакцию россосанской районной газеты. Редактировал ее Борис Иванович Стукалин, будущий известный государственный деятель — министр печати “всего Советского Союза”. Он-то приободрил и поддержал начинающего автора.

С того времени, видимо, Прасолов всерьез начинает думать о газетной работе. Учителем он пробыл лишь полтора учебных года. В 1953-м возглавлявший уже воронежскую газету “Молодой коммунар” Стукалин подписал приказ о зачислении на должность корректора А. Т. Прасолова.

Так Алексей Тимофеевич приобщился к журналистике.

Каким он приехал в областной город, пришел в молодежную газету, хорошо запомнил писатель Владимир Александрович Корабинов.

— Тогда я работал в “Коммунаре” художником-ретушером. Приходил в редакцию пораньше, готовил снимки, рисунки в очередной номер — пока колгота заполюшная не началась. Собеседником моим в столь ранний час всегда был Алеша Прасолов, являлся он на работу тоже спозаранку. (Корабинову не жаловался, как трудно привывал к городу. Изливал душу в письме другу: “Помнишь, шли мы с речки, а у дороги девочки-подростки пели — ладно, голо-систо... Здесь этого не услышишь. Тут и птиц почти нет. Вместо них звенят деньги, свистки на перекрестках... В городе отдохнуть, а жить устанешь. Погляжу — даль, синяя-синяя... Пойти бы по нашей земле, а потом сложить песню, чтобы жизни была под стать”.

— Тихий Алеша, незлобивый, держался от шумных компаний на отдалении. Сельский пастушок — и только.

В утренних беседах сошлись поближе. Стал он откровеннее, стал не таким скрытным. Почувствовалось — начитанный, знающий паренек, уже имеет свой твердый взгляд на литературу, на жизнь.

Так повелось частенько: я рисую, он читает стихи.

Потянуло их друг к другу с Васей Песковым, тот фотокорреспондентом был.

Поступил учиться в вечерний университет на исторический факультет. Хорошо началась учеба, отмечали его способности. Вдруг оставил науки. Объяснил так: то, что на лекциях читают, — чаще знакомо, то, что необходимо — сам постигну.

Мне его слова не показались хвастливыми, нисколько не сомневался в способностях Алексея к самостоятельной, серьезной работе.

Неплохо все вроде складывалось в его жизни.

Да, помню, прибежали раз ребята в комнату с известием: Алеша пьян. Не поверил. Все мы не святыми были, грешили. Но Алеша же всегда был в стороне от таких дел. Тихий, повторяю, что пастушонок.

Ребята не обманули. Случаться такое с Алексеем стало все чаще и чаще. И он как человек изменился...

В те годы за пишущей машинкой редакции служила Анна Слюсарева. Под крышей коммунальной квартиры ее соседями были тоже сотрудники “Молодого коммунара” Прасолов и Касаткин. Павел Ефимович — постарше возрастом, фронтовик, писал стихи. Одна беда: уже маститый литератор любил “застольно-хмельной поэтический обычай”. В этой божественной обстановке Алексея по настоящему искусил “зеленый змий”, утверждала Анна Ивановна, тут он болезненно прирастился к вину. “На моих глазах это было”.

Владимир Александрович Кораблинов не припомнил, но, очевидно, эта беда вынудила Прасолова уйти из молодежной газеты, покинуть Воронеж. Было это в конце августа 1955 года.

В душу недавнего сельского парня уже тогда вселялась тоска-кручина.

*В вагоне ночью ехал я  
И равнодушно усмехался:  
Вагон был пуст, как жизнь моя,  
И — к остановке приближался.*

Переехал он на жительство к родному дому поближе. Работать начал корректором, а затем литературным сотрудником, заведующим сельскохозяйственным отделом районной газеты в Россоши. Опять-таки неплохо все складывалось. “За участие в выпуске городской сатирической газеты награжден Почетной грамотой обкома комсомола”, — не без приятного чувства писал он эти строки в послужном списке. Приглашали его на областное совещание молодых литераторов. Столичные известные поэты, а среди них были Владимир Солоухин, Николай Старшинов и Юлия Друнина, устно и печатно отметили серьезные творческие искания Алексея Прасолова, как и его поэтических сверстников. Стихи росошанского газетчика публиковались тогда не только в своей районной, но и в областных, даже центральных газетах, в коллективных поэтических сборниках. Начал он печатать и первые рассказы. Писал он и “нечто вроде повести”.

Давать отлеживаться готовой рукописи не стремился. “Еще: представь себе, — беседовал он в письме по этому поводу с другом Михаилом Шевченко, — что ты идешь против морозного ветра; чем глубже ты прячешься в воротник, тем сильнее жжет лицо; а стоит тебе поднять голову и обветриться, как ты уже не чувствуешь прежнего холода. Так и печатание стихов: чем дольше прячешь их, тем страшнее за них, тем ты неувереннее. Печатайся и не своди глаз с той вершины, к которой стремишься”.

В тогдашней литературной среде не чувствовал себя робким провинциалом. “На областное совещание творческой молодежи я опоздал. Зашел в зал, там в разгаре “вечер одного стихотворения”, — припомнилось Михаилу Федоровичу Тимошечкину. — Прочитал и я свое. Подходит ко мне парень, как к старому знакомому. Подает руку: “Прасолов”. Явились с ним на обсуждение стихов, а здесь свободных мест нет. Поделили стул на двоих. Сосед мой за словом в карман не лезет, сразу выкладывает свое мнение об услышанном. Я тоже не стал отмалчиваться. Как соревнуемся: кто из нас поострее оценит выступление критика. Вольно кидаем реплики — удачные, одна хлеще другой. Смеемся и подталкиваем друг друга. Потом Алексея попросил прочесть стихи Солоухин”.

В семейной жизни намечалось житейское спокойствие. Кончились одиночные скитания по углам. Правда, невесту встретил скоропалительно: ехал в поезде, глянулась попутчица — Нина Илларионовна Лукьянова. Моложе жениха на четыре года. Выпускница финансового техникума, по распределению была направлена на работу из Астраханской области в Воронежскую. Предложил ей руку и сердце. Во время регистрации брака “бросили даже жребий, на чью фамилию нам писаться”. Выпало — Прасоловы. Крутые перемены позже объяснит так: “когда устают искать — женятся”. Получили квартиру. Жена работала бухгалтером, старшим экономистом в Россошанском райфинотделе. Вскоре, 21 октября 1957 года, родился сын — Сережа. “Мы с женой в начале нашей жизни. Еще не до конца стерта живая, молодая непосредственность в отношениях. Нам очень некогда: пришли с работы, бежим к реке сажать огород. Делаем это при свете луны. Кругом никого, только речка журчит. Смотришь, как девчонка (совсем недавняя) бросает в лунки картофелины, отводит от лица спадающие волосы. Мне она очень близка. Я ей тоже. Идем в полночь усталые, но чем-то очень сближенные”.

... В годы газетной работы Прасолов не отказывается вести литературные кружки, наставляя начинающих авторов. Одним из них был сельский учитель из Новопостояловки Виктор Васильевич Беликов.

— Познакомился я с Прасоловым в 1959 году. После техникума и первой осечки с университетом в ту пору слонялся по родным лесам, много читал и кое-что писал, слабо, но осмысленно. Где-то в декабре накропал нечто пат-

риотическое и новогоднее и, зажмурив глаза, отослал в районную газету... Прошло какое-то время, директор нашей семилетки передает: "Тобой заинтересовался Алеша Прасолов. Говорит, что хотел бы познакомиться. Что-то в твоих стихах ему понравилось". Можно себе представить, как я взволновался, как долго оттягивал встречу. Будучи в Россоши, набрался храбрости и зашел в редакцию, спросил Прасолова у невысокого лысеющего парня с колючим, пронзительным взглядом.

"Я Прасолов. Что ты хотел?"

Представился ему. Думаю, что мы оба друг друга разочаровали. "Неужели этот неказистый заморыш и есть Прасолов? А я-то думал..." Полагаю, примерно так же мог подумать и он обо мне, если вообще я его интересовал. Во всяком случае, разбирая мои стихи, он задал мне такую трепку, не оставил от них и строчки путной. Возражать не стал, лишь слабо и раздраженно защищался.

"Впрочем, у тебя что-то есть, греет лирическая интонация, есть неплохие образы. Но все пока сыро, много словесного мусора. Кое-что отберу в печать".

Вылетел я из редакции злой и разочарованный. Приласкал. Подумаешь, классик! Хотя в глубине души и понимал, что он прав, что стихи слабые, стихотворец из меня пока что никакой. И захотелось вдруг доказать, что я что-то могу. Эта злость пошла на пользу. Как и последующие нелицеприятные разборки. Именно они дали понять, что поэзия — не игра в бирюльки, а тяжкий, хотя и радостный труд.

Так совпало, что в тот же день по совету Прасолова купил тоненькую книжицу стихов "Никитины камня" Владимира Гордейчева и по дороге домой, в санях закутавшись в тулуп, глотал строку за строкой. Стихи меня потрясли. Пока я доехал домой, досада на Прасолова, на его разнос совсем растаяла. "Вот как надо писать, а ты принес детский лепет и еще на что-то рассчитываешь", — примерно так думал я. И окончательно решил: учиться пойду на филологический факультет, ибо знаний имею маловато, чтобы всерьез заниматься литературой.

Уже в шестидесятых по рекомендации Прасолова меня пригласили на литературные встречи в Россоши — в педучилище, на железной дороге. Встречи прошли хорошо, стихи наши публика принимала доброжелательно. И в первую очередь тепло аплодировали Прасолову. А вот, так сказать, под занавес в клубе маслозавода контакта со слушателями Алексей Тимофеевич не нашел. Нам, начинающим, внимали благосклонно, а прасоловские стихи "не пошли". Всем бросилось в глаза, что автор "на взводе", это просто обидело людей. Алексей Тимофеевич нашел выход, как исправиться, заявил: "Слушайте Маяковского!" И выдал "Во весь голос". Да как выдал! Читать со сцены он умел.

— Что поражало меня в Прасолове, — говорил директор библиотеки техникума мясной и молочной промышленности Георгий Степанович Тарасенко, долгое время близкий к поэту, — что просто удивляло — так это воловья сила в работе над стихами при любых жизненных обстоятельствах.

Как-то после очередных передыжек пришлось ему из газеты временно уйти на кирпичный завод грузчиком. Представляете, что это за дело: работать не в горячей — в горящей печи. Он так об этом рассказывал: "Заскакиваешь в печное нутро — лицо закрываешь; назад толкаешь вагонетку — телогрейка на спине горит!" Да другой сто раз бросил бы стихи и забыл бы о них думать. Только не Прасолов. Измотанный тяжелым трудом, по вечерам заходил ко мне в гости и с порога читал на пробу новые варианты стиха. Читал строки, какие вынашивал день и ночь. В подтверждение напому:

*Ведь кирпич,  
Обжигаемый в адском огне, —  
Это очень нелегкое, древнее дело.  
И не этим ли пламенем прокалены  
На Руси —  
Ради прочности зодческой славы —  
И зубчатая вечность  
Кремлевской стены,  
И Василия Блаженного  
Храм многоглавый?*

А еще поддержка Твардовского очень многое значила. Александр Трифонович как благословил его в поэзию. Патриарх в литературе. Прасолов прямо окрыленным вернулся из Москвы. Не ходил, а летал...

Думая о человеческих способностях, Лев Николаевич Толстой записал: “Все дело в мыслях. Мысль – начало всего. И мыслями можно управлять. И потому главное дело совершенствования – работать над мыслями”.

Поэт Алексей Прасолов над творческой мыслью работал всю жизнь. Убедительные свидетельства тому не только стихи, но и его письма, напечатанные ныне в различных изданиях. По ним можно проследить и попытаться понять, как шло становление поэта.

“Стану сливать воедино мысль, чувство, дыхание, цвет и запахи мира”.

“Чувствую тягу к чему-то не отрешенному от людей (а эта “отрешенность мыслителя” заметна во многих написанных стихах)”.

Мучительно он размышлял о времени, в каком выпало жить. “...Заря у человека и у эпохи бывает однажды. Зажженная великим разумом, она со смертью зажегшего утеряла внутреннее движущее начало; массовое же движение велико только при централизованном внутреннем источнике движения, – этим источником был Ленин, потом – без оговорок – Сталин: своеобразнейший комплекс силы духа, мысли, воли, жестокости – все вместе на почве разумной беспощадной идейности.

А теперь – свобода от сознания долга (разве что кроме формального) и животная движущая жажда: настрадались – так теперь пожить! И – кто во что горазд!

Ты – во что горазд? Ах, ищешь истину в творчестве и творческую силу в истине? благородно, молодой человек, но – не материально. Духовное же – не для сегодняшнего рынка”.

Схоже обостренно думал он о предназначении творческого труда. “Слово звучит как-то свято, когда ты его шепчешь, придаешь произношению, значению его живую интонацию, когда оно не литературное произведение, а твоя внутренняя речь. И, легшее на бумагу, оно сначала греет душу, а потом, словно положенное на снег, остывает и не греет тебя. Что с нами делается – мы убываем, стынем час от часу, и наше – так же умирает на глазах!”

*Еще мой день под веками горит,  
Еще дневное солнце говорит,  
Бессонное ворочается слово —  
И не дано на свете мне иного.*

Внутреннее, глубинное, сокровенное в душе человека, твоего современника, – оно и твое. Наше. Этим была сильна изначально и поныне отечественная словесность, в которой есть и Алексей Прасолов.

## 11

Его планида в чем-то схожа с судьбой широко известного теперь его современника – поэта Николая Рубцова. Я чувствовал: не могли они ревностно не следить друг за другом пусть по редким, но весомым стихотворным публикациям в столичных изданиях. Сыскалось-таки этому подтверждение. О примечательном разговоре с Николаем Рубцовым рассказал учившийся с ним в Литературном институте сокурсник.

– У вас в Воронеже живет Алексей Прасолов. Знаком с ним? – спросил Рубцов.

Собеседник ответил утвердительно, но с явным безразличием – мол, мало ли кто проживает в большом городе, пускай даже из пишущей братии... Рубцов почувствовал это, вспылил:

– Дурак! Алексей Прасолов – поэт! А вы этого не видите...

## 12

Человек жив, пока жива память о нем. А потому – случись вам быть в Воронеже на главной его улице, на проспекте Революции, против почтамта, остановитесь у старого особняка, в каком сейчас размещается казначейство. На боковой стене дома бросится в глаза небольшой серокаменный свиток.



На нем высечено, что здесь в пятидесятые годы в редакции газеты “Молодой коммунары” работал поэт Алексей Тимофеевич Прасолов.

Доска, конечно, скромная, куда как уступает близкой к ней (на улице Энгельса) мраморной глыбе в память об Осипе Мандельштаме. Но и мал золотник – дорог, он подтверждает, что земля Воронежа не только приняла в себя прах поэта, город взял Прасолова в духовные спутники.

Еще раньше мемориальная доска открыта на здании Россошанского педагогического училища. В музейной комнате есть уголок Прасолова. Все по справедливости: годы его учебы здесь, многотрудные, послевоенные, были, наверное, самыми светлыми в его жизни.

На открытии звучали добрые слова о поэте. Будь так, что вдруг Алексей Тимофеевич услышал эти речи, обязательно иронично съязвил бы о себе: побронзовел...

Впрочем, иначе и не должно: уходит прочь суетное, остается нетленное.

### 13

Незадолго до кончины Прасолов как бы подытожил свой трудовой путь в письме к Василию Белокрылову: “Я с 1951 года не сидел долго в одном месте. Двадцать три рабочих места (или больше, черт знает), два захода в обстановку, где вывернуто в жизни и в человеке, и полная, порой тягостная одиночеством свобода, то есть прежде всего – в личном порядке – надежда на самого себя и даже ненужность твоя кому-то – тоже в личном порядке”.

Алексей Тимофеевич мог сказать о себе строкой популярной в те годы песни: “И носило меня, как осенний листок...” За два, без малого, десятка лет – двадцать три записи в трудовой книжке. Перекашивало и семейную жизнь. О таких срывах в народе обычно говорят так:

– Пока трезвый – душа-человек, а как выпьет – не приведи Господи...

Да, принимался лечиться – не помогало. Шел даже на самые крайние меры по отношению к себе, на какие смог бы решиться не всякий человек. Его горькая исповедь об этом сохранилась в письме давнему и близкому приятелю Ивану Ильичу Моргунову. Личность тоже одаренная от природы. Тем памятным мне летом шестьдесят седьмого в редакционную комнату к Прасолову залетал скорый на ногу, быстрый в разговоре человек, внешне схожий с Алексеем Тимофеевичем: невысок, сухотел. Постарше возрастом – участник войны. Называл он себя “секретаршей-машинисткой киносети”. Ведущий актер в народном театре. Был способнейшим радиокорреспондентом, но однажды лишился микрофона – пьяным напросился брать интервью у первого секретаря обкома. Моргунов в ту пору стал абсолютным трезвенником. С Прасоловым их особенно связывала рыбацкая страсть. Подолгу говорили о рыбалке.

После искренне печалился, горевал Иван Ильич, узнав, что его друг наложил на себя руки. К тому времени мы с ним работали вместе в районке. Однажды Моргунов принес письмо, дал прочесть. “Оно вроде очень личное, но знать его не грех. Виднее станет Прасолов”.

Писал Алексей Тимофеевич в Россошь из-под Воронежа, но – из-за ключей проволоки “п/я ОЖ” в Кривоборье.

“Добрый день, Ваня!

Хотел бы я, чтобы ты прочел мое, быть может, неожиданное и нежелательное письмо втихомолку. Не потому что я пишу о каких-то недобрых делах, а просто по той причине, что не люблю чувствовать за плечом постороннее ухо.

Девять месяцев я нахожусь в той обстановке, о которой не раз думал прежде. Думал не оттого, что она приятна, а потому что она мне в последнее время была необходима. Я уехал из Россоши с этой мыслью: ведь мне неохота было изолироваться на время от вольной жизни, которую я порядочно испортил, на глазах родных и знакомых. Это я решил сделать после того, как подуправился с некоторыми личными делами и на стороне, где меня могли знать как приезжего. Я проработал ровно столько, сколько задумал, чтобы успеть получить гонорар за поэму. Получил, купил костюм и сам себе сказал: теперь пора. Ведь рано или поздно я окончательно бы спился. Мне нужно было горькое, но необходимое лекарство – изоляция на год, на два, чтобы окончательно очиститься от заразы, которая меня все больше захватывала на воле. Другого выхода, кроме конца где-нибудь под тыном, у меня не было.

И вот я девять месяцев не знаю, что такое водка и баба. Я никогда за последние годы не чувствовал себя так облегченно и спокойно. И знаешь, у меня сейчас такое отращение к прежней полутрезвой жизни, что я не верю порой: неужели это со мной было?

А напиться здесь просто. Я работаю завклубом, за зону выхожу, когда мне нужно, конвоя в нашем лагере нет, люди работают на стройке рядом, а часто и вместе с вольными, так что возможность богатая. Было бы желание. А желания-то у меня теперь уже абсолютно нет. Я сейчас много читаю и думаю. А думая, продолжаю писать. Есть уже пять рассказов, блокнот стихов и несколько глав повести в прозе. Я готовлюсь к новой жизни — и с трезвой головой. Здесь я на хорошем счету: являюсь секретарем совета коллектива отряда, где разбираем и выносим приговоры за нарушение режима, редактором стенгазеты, культургом. Недавно ездил делегатом в другой лагерь возле Рамони. Красота у них! У многих таких условий дома не было и не будет. Но у них режим строже. У нас — слабый, а у них общий. Встретил многих из Россоши. А. Колиух в Воронеже, в лагере, который зовут “двадцаткой”. Оттуда тоже были делегаты — люди солидные: инженеры, большие руководители. Освобожусь я в мае того года по половине срока. Как раз намеченное доделаю и выйду не с пустыми руками. Переписываюсь с Воронежем, Тамбовом и Белгородом. Недавно отослал новую поэму.

Жизнь у нас очень похожа на армейскую, но солдатам труднее — у них ученье, а у нас — работа и после свободное время. Есть кино, телевизор, который у меня в клубе, всяческие мероприятия — спортивные соревнования, шахматные турниры и т. д. У нас народ неиспорченный, блатных нет. Сроки — от шести месяцев до трех лет. Начальник по политико-воспитательной работе — майор, хорошо знающий меня по Воронежу. Он сам газетчик. Страшно похож на Грачева, только зовут Ив. Григ. Драчев!

В Россошь я не вернусь. Не знаю, как там моя бывшая половина существует. Я с ней порвал всяческую связь и написал только об одном: пусть берет развод, срок у меня дает ей право на быстрый и бесплатный развод. Но она почему-то не берет. Надеется? Так это пустая надежда. Отрезанный ломот не приставишь. Серезу, Ваня, мне очень больно терять. Какой он там теперь?.. Ты его не видел в последнее время? Не от той я родил его, от какой надо бы.

Ваня, напиши мне о жизни, работе, рыбной ловле. О, я часто вижу себя на рыбалке! Но — во сне. Здесь рядом Дон, но рыбы мало, кругом мель, я пешком переходил весь Дон, на середине — по горло. Ну да это впереди все. Я, наверное, как выйду, так рыбалить уж буду на реке Воронеж, где и был до приезда в Россошь.

Итак, до свиданья. Жму писучую руку и желаю добра. Пиши подробно обо всем. Не то обижусь. А зеки (заключенные) страшны в обиде! То-то! Будь здоров, Ваня.

Пиши сразу, ладно?”

“Я готовлюсь к новой жизни — и с трезвой головой...” — вначале так и вышло. Все-таки возвратился Алексей Тимофеевич в Россошь, в свою семью. “Троепольский меня попросил похлопотать о трудоустройстве Прасолова, — припомнил Михаил Тимошечкин, работавший тогда собственным корреспондентом областной газеты “Коммуна”. — Я занес книжечку стихов Алексея первому секретарю райкома партии Крымову. Рассказал о судьбе автора. Михаил Иванович согласился: помочь человеку надо.

Однажды ходили с Прасоловым в заречное село, разговорами коротали дорогу. На обратном пути зашли к Алексею домой. Уток загоняли в стайку. Жена приветливо встречала. Сын рядом. Семейная идиллия”.

Задуманное — с трезвой головой — в очередной раз не исполнилось. Не сумел, не смог...